

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

Глава 33. Последние дни в Москве

За год до “обсуждения” Павла Васильева в редакции “Нового мира” Ключеву пришлось объясниться с Гронским лично.

30 сентября 1959 года бывший председатель Оргкомитета Союза советских писателей, вышедший на свободу после 18 лет воркутинских лагерей и казахстанской ссылки, Иван Михайлович Гронский выступил в Институте мировой литературы с воспоминаниями, посвящёнными “крестьянским” поэтам: Есенину, Ключеву, Клычкову, Орешину, Павлу Васильеву.

И вот как рассказал он о своих встречах с Ключевым.

Дошло до него, председателя Оргкомитета, что “Н. А. Ключев стоит на паперти церкви, куда часто ездят иностранцы, и просит милостыню: “Подайте, Христа ради, русскому поэту Николаю Ключеву”, – и иностранцы, конечно, кладут ему в руку деньги”.

Это была пора, когда, на полную катушку используя в строительстве индустриальных гигантов технологии и специалистов с Запада, – в самих западных государствах видели – и не без основания! – противников в грядущей войне. В то же время нищие, бывшие раскулаченные крестьяне, просочившиеся через все мыслимые и немыслимые кордоны из коллективизированных деревень в столицу и просящие милостыню, воспринимались, как враги с ножом за пазухой, ибо, самим своим видом вызывая жалость и естественные вопросы о голоде в России (которого власть не желала признавать), они являлись живым укором и власти предержавшей, и простым городским обывателям, уже перестававшим быть обывателями, становившимися частями нового общества, готового на всё по слову мудрого руководства, частями государственного монолита.

А известный поэт, носящий несмываемое клеймо “кулацкого” и просящий милостыню у иностранцев – да сам по себе этот факт уже заслуживал наименования контрреволюционного!

Но Гронский не торопился разбираться с Ключевым в стиле, свойственном эпохе. Он не зря носил репутацию “либерала”, который по возможности помог в свое время и Пильняку (переделавшему по его просьбе “контрреволюционное” “Красное дерево” в советский роман “Волга впадает в Каспийское

море”), и Замятину, опубликовав в “Известиях” его “оправдательное” письмо после травли, развернувшейся по следам публикации за границей романа “Мы”... Ключев он встретил в одиннадцатом часу вечера в шикарном кабинете редакции “Известий” — с камином и мебелью из красного дерева... Бедно одетый Ключев в потертом пиджачке и таких же штанах, в русских сапогах гармошкой остановился на пороге... Глянул на Гронского — всё понял. Не в первый раз виделись, ещё до революции встречались в присутствии и Блока, и Городецкого... Сложил руки Николай — и запричитал.

— Вот, сподобил Господь-Бог повидаться с Вами, Иван Михайлович, сподобил Господь-Бог! Уж и хорошо у Вас, люленьки-ляля, уж очень хорошо! Как в раю, как в раю!

Гронский эту песню оборвал мгновенно.

— Либо мы будем разговаривать, как взрослые люди, либо я совсем не буду с Вами разговаривать.

Ключев согласился разговаривать, “как взрослый”. И заговорил.

“И вот передо мной сидит, — вспоминал Гронский, — образованнейший человек нашего времени. Вы говорите с ним о философии, он говорит, как специалист. Немецких философов Э. Канта и Г. Гегеля он цитирует наизусть, К. Маркса и В. И. Ленина цитирует наизусть.

— Я самый крупный в Советском Союзе знаток фольклора, — говорит он, — я самый крупный знаток древней русской живописи.

И это были не фразы.

С ним было приятно разговаривать, потому что это был энциклопедически образованный человек, прекрасно понимающий и знающий искусство”.

И можно предположить, что Ключев цитировал страницы из “Капитала” Маркса, посвящённые знаменитому “огораживанию” в Англии, следствием чего стали тысячи и тысячи фермеров, выброшенных из своих бывших хозяйств, превратившихся в нищих и бродяг (а за бродяжничество неукоснительно полагалась виселица!). Он мог напомнить Гронскому отрывки из ленинских статей начала 20-х годов, как своего рода укор нынешним властителям:

“Мы... очень много погрешили, идя слишком далеко... нами было сделано много просто ошибочного, и было бы величайшим преступлением здесь не видеть и не понимать того, что мы меры не соблюдали... мы зашли дальше, чем это теоретически и политически необходимо... Ничего не ломайте, не спешите, не мудрите наспех...”

“Для настоящего революционера самой большой опасностью, — может быть, даже единственной опасностью является преувеличение революционности, забвение граней и условий уместного и успешного применения революционных приёмов. Настоящие революционеры погибнут (в смысле не внешнего поражения, а внутреннего провала их дела) лишь в том случае, — но погибнут наверняка в том случае, — если потеряют трезвость и вздумают, будто “великая, победоносная, мировая” революция обязательно все и всякие задачи при всяких обстоятельствах во всех областях действия может и должна решать по-революционному”.

На эти воистину пророческие слова Гронский возражать не мог. С Ключевым бы поспорил, тут же обвинив его в “реакционности”, но с Лениным не поспоришь. Лучше уж Канта да Гегеля послушать.

Но удовольствие от интеллектуальной беседы — удовольствием, да пора и честь знать, и о своих прямых обязанностях вспомнить.

— Николай Алексеевич, почему Вы пошли на паперть?

— Есть нечего.

— У Вас в вашей келье иконы Рублёва есть?

— Есть.

— А оригинальная библия XVII века есть?

— Есть.

— Так вот, если вы продадите хоть одну вещь в музей, то два-три года можете прожить не нуждаясь. Значит, на паперть заставила идти Вас не нужда, а кое-что другое, этим другим является ненависть к большевикам. Вы с нами хотите бороться, мы бороться умеем и в борьбе беспощадны.

— Я не хочу бороться, я хочу работать, но мне надо есть, нужно одеваться.

— Ну что ж. Хорошо.

И Гронский вызвал секретаря и приказал ему выдать Николаю Алексеевичу “карточку академического пайка и 5 тыс. рублей денег”. Кроме того — за-

казал билеты для Клюева и Анатолия Яра (которого Николай назвал своим “племянником” – так же он называл Яра и в письмах к нему) – для проезда в “деревню” (очевидно, в то же Потрепухино).

Клюев, естественно, не задал вопроса – откуда Гронскому известно о рублёвских иконах и библии XVII века. Ответ был очевиден – всё это внимательно рассматривал в клюевской “келье” “сокол” – Пашенька Васильев, который с удовольствием делился с Иваном Михайловичем своими впечатлениями.

Думал ли Пашенька о последствиях? Судя по его поведению – нет. Он просто делился “интересным”, бросал на ходу пришедшие в голову фразы, совершенно не интересуясь их дальнейшим истолкованием.

По словам Гронского, у него завязалась с Клюевым оживлённая переписка. Но никаких её следов не обнаружено.

Зато сохранился набело переписанный рукой Клюева цикл “О чём шумят седые кедры” с приложением к нему “Клеветников искусства” – эту рукопись Николай послал Гронскому как главному редактору для публикации в “Новом мире”.

И вот что из этого вышло.

“Однажды получаю от Н. А. Клюева поэму. И вот сижу дома, завтракаю. Напротив сидит П. Н. Васильев, который жил в это время у меня. Читаю эту поэму и ничего не могу понять. Это любовный гимн, но предмет любви – не девушка, а мальчик. Ничего не понимаю и отбрасываю поэму в сторону.

– Ни черта не понимаю!

П. Н. Васильев берёт её и хохочет.

– Чего ты, Пашка, ржёшь?

– Иван Михайлович, чего же тут не понимать? Это же его “жена”.

Мне захотелось пойти и вымыть руки”.

Судя по реакции Гронского, можно подумать, что он впервые встретился с “такими” стихами. Но в это, честно говоря, плохо верится. Человек он был начитанный, литературу, в частности, поэзию начала XX века, знал хорошо, во всяком случае, читал и Михаила Кузмина, и Евдокию Нагродскую, и Зиновьеву-Аннибал... Вчитываясь в стихи Клюева, в которых начисто отсутствует “проблема пола”, он, конечно, не стал – доверился своему первому поверхностному впечатлению и Пашиной “оценке”.

А дальнейшие события, если верить Ивану Михайловичу, развивались так:

“Приезжает Н. А. Клюев, является ко мне.

– Получили поэму?

– Да.

– Печатать будете?

– Нет, эту мерзость мы не пустим в литературу. Пишите нормальные стихи, тогда будем печатать. Если хотите нормально работать, мы дадим Вам такую возможность.

– Не напечатаете поэму, писать не буду.

– Итак, Вы встаёте на путь борьбы? Тогда разговор будет короток. В Москве вы не останетесь.

– Моё условие: или печатайте поэму, или я работать не буду.

Я долго уговаривал Н. А. Клюева, но ничего не вышло”.

Честно говоря, этот разговор и не мог закончиться иначе. Услышав от Гронского, что его стихи – “мерзость”, тут же сообразив, что именно главный редактор “Нового мира” имеет в виду, Николай не стал вдаваться ни в какие объяснения. Он просто прекратил беседу, не желая слушать ни о какой “борьбе”, которую поэт, отказываясь “работать”, якобы ведёт против советской власти.

“Я позвонил Ягоде и попросил убрать Н. А. Клюева из Москвы в 24 часа.

Он меня спросил:

– Арестовать?

– Нет, просто выслать из Москвы.

После этого я информировал И. В. Сталина о своём распоряжении и он его санкционировал”.

Эта похвальба, эта жажда представить себя как ответственного человека, “справившегося” с “врагом” при помощи сильных мира сего, производит, мягко говоря, странное впечатление, особенно если учесть, что личная заслуга Гронского в расправе с Клюевым была несколько иной, чем Иван Михайлович стремился показать через четверть века. И последовательность событий была совершенно другой.

Клюев не “боролся”. Он творил. Творил без всякой надежды на публикацию. И свои последние стихи, написанные в Москве, читал лишь отдельным избранным людям.

*Я не серый и не сирый,
Не Маланьин и не Дарьин,
Особливый тонкий барин,
В чьём цилиндре, строгом банте
Капюшоном веет Данте,
А в глазах, где синь метели,
Серебрится Марк Аврелий,
В перстне перл — Александрия,
В слове же опал — Россия!*

Так отвечал поэт своим обвинителям (типа Бескина) в “кулачестве” и “но-вобуржуазности” и своим непрошеным “защитникам” (типа Вячеслава Полонского, по мнению которого Клюев показывал “внутренний лик... деревенской “старины”, ещё не изжитой, ещё цепляющейся за жизнь”)... В унисон отповеди преобразается и дом — одиночество будит воображение, и в подвале Гранатного переулка расцветает чудодейная роща.

*Мой подвалец лесом стал, —
Вон в дупле горит опал! —
Сердце родины иль зыбка,
С чарою ладонью глыбкой
Смуглой няни — плат по щёки!..*

Настроение меняется под стать дуновению холодного ветра. Холод и страх поселяются в душе, осень за окном напоминает о скором скончании дней.

*Ненастна воронья губернья,
Ущербные листья — гроши.
Тогда предстают непомерней
Глухие просёлки души.
Мерещится странником голос,
Под вьюгой без верной клюки,
И сердце в слезах раскололось
Дуплистой ветлой у реки.
Ненастье и косит, и губит
На кляче ребрастой верхом,
И в дедовском кондовом срубе
Беда покумилась с котом.*

И всё же не желает он сдаваться отчаянью. Рано хоронить и дом, и его самого!

*Ворона — спутница ненастья, —
Не каркай голодно, гумно
Зареет, словно в рай окно, —
Там полногрудые суслоны
Ждут молотьбы рогов и звона —
Кто слышит музыку гумна,
Тот вечно молод, как весна,
Как сизый аир над ручьём...*

*Порадуйся, мой старый дом,
И улыбнись скрипучей ставней.
Мы заживём теперь исправней,
Тебе за нищие години
Я шапку починю тесиной
И брови подведу смолой,
Пусть тополь пляшет над тобой
Гуськом в зелёную присядку...*

Клюев — “живой мертвец”, которому “нечем жить”? Неправда!

*Не остудят метели деда,
Лишь стойло б клевером цвело,
У рябки лоснилось крыло
И конь бы радовался сбруе,*

*Как песне непомерный Клюев! —
Он жив, олонецкий ведун,
Весь от снегов и вьюжных струн
Скуластой тундровой луной
Глядится в яхонт заревой!*

И всё же наступают чёрные минуты, когда радуется поэт даже явлению нечистой силы. И эта нечистая сила в своём реальном поэтическом воплощении ныне куда страшнее тех inferнальных видений, что тревожили его сознание в последний предреволюционный год.

*В семиэтажьи на карнизе,
Как дух, лунатик... Бьют часы
По темени железной тростью.
Жемчужину ночной красы,
Отужинать дождуся гостью
Хвостатую, в козлиных рожках,
Она в аду на серных плошках,
Главвинегретчица Авдотья.
Сегодня распотешу плоть я
Без старорусского креста,
И задом и губой лапта,
Рогами и свиным глазом!..
Чтоб вередам, чуме, заразам
Нашлось место за столом
В ничьём, безродном, неживом,
Где кровушка в бокалах мутных
И бесы верезжат на лютнях
Ослиный марш топ-топ, топ-топ!..
Меж рюмочных хрустальных троп
Ползёт змея — хозяйка будней.
Вон череп пожирает студни,
И в пляс пустились башмаки, —
Колотят в рёбра каблукки.
И сердце лает псом забытым,
У дачи в осень позабытым...*

Самые страшные сюжеты Эдгара По кажутся неловкими фантазиями рядом с этой картиной... Глядя через окно в осеннюю чёрную ночь, можно многое увидеть, многое, в сравнении с чем даже есенинский “Чёрный человек” покажется добрым гостем... Здесь, правда, дьявольское пиршество отдалённо напоминает “Сарай” Алексея Ганина, и не исключено, что строки его приходили Клюеву на память. Но следующее стихотворение, начатое уже зимой 1933-го и так и оставшееся незаконченным в рукописной тетради, мягко говоря, ошеломляет.

*Умылся желчью бальзамин,
Лишь белена да мухоморы
Ведут отравленные споры,
Что в доме строгий господин,
Что проклевал у клавишин
Чумазый ворон грудь до ребер,
Чтоб не затеплилась в небе
Слезинкой девичьей звезда...*

.....

*Хозяин дома делит сам
Пшеницу, жемчуг, горностаи,
И в жерла ночи бесов стаи
Уносят щедрую добычу.
Я липою медыни сычу,
Таинственный, с дуплистым глазом,
О полночь вижу, как проказам,
Нетопырям, рогатым юдам
Ватага слуг разносит блюда:
Собачий брѣх, ребячьи ножки,
И в лунном фраке по дорожке
Проходит сатана на бал.
Дуплистым глазом видя зал,
Я, липа, содрогаюсь лубом,
И вот железным мёртвым зубом
И мне грозят лихие силы:
В саду посвистывают пилы
Марш похоронный вязам, клѣнам...*

Михаил Булгаков, разумеется, не мог читать этого клюевского черновика, как и Клюев не читал и не слышал глав булгаковского романа — они вообще знакомы не были. Просто схожие видения в эту эпоху возникли в сознании двух кардинально различных по дарованию, социальному происхождению и творческим устремлениям художников. Нельзя не заметить, что картина “сатанинского бала” у Клюева жутче, нежели булгаковская. У Клюева — ни малейшей эстетизации происходящего. Всё, как в реальности, — глазами застывшего, превращѣнного в дерево поэта. Дерево живое, одухотворѣнное, но — недвижимое, обречѣнное покорно ждать своего конца.

В других стихотворениях, написанных в эти же осенне-зимние месяцы, определяющим становится мотив ухода, даже не ухода — отплытия, и всё более основательно вступает в свои права водная стихия.

*Прости, прости. В разлив реки
Я распахну оконца вежи
И выплыву на пенный стрежень
Под трубы солнца, трав и бора...*

*Это тридцать лет словостроенья,
Плешь как отмель, борода — прибой,
Будет и последний китобой —
Встреча с розою — владычицей морской
Под тараны кораблекрушенья.*

*И в час, когда заблещут копы
Моих врагов из преисподней,
Я уберу поспешно сходни.
Прощай, медвежий самовар!
Отчаливаю в чай и пар,
В Китай, какого нет на карте...*

Это “отчаливание” отсылает к мифическому плаванью по доисторическому океану, омывающему неподвижную землю, стоящую на трёх китах.

Но почему именно в Китай?

Об этом более полувека назад писал Константин Леонтьев:

“...Хотя Православие для меня самого есть Вечная Истина, но всё-таки в земном смысле оно и в России может иссякнуть. Истинная Церковь будет и там, где останется три человека. Церковь Вечна, но Россия не вечна и, лишившись Православия, она погибнет. Не сила России нужна Церкви, сила Церкви необходима России; Церковь истинная, духовная — везде. Она может переселиться в Китай; и западные европейцы были до IX и XI века православными, а потом изменили истинной Церкви!..”

Война с Православной Церковью, закрытие и разрушение храмов, аресты и расстрелы священников – всё напоминало погром старой Православной Церкви два с половиной века назад.

Не раз ходил в это время Ключев в Большой театр – смотреть и слушать великую “Хованщину” Мусоргского.

Слёзы текли по его впалым щекам, когда слушал он арию Досифея: “Сколько скорби, сколько терзаний дух сомненья в меня вселял...” И загорались глаза его, когда на подмостках сцены появлялась столь любимая им Надежда Обухова, певшая партию Марфы: “Свершилось решение судьбы, теперь пришло время в огне и пламени принять от Господа венец...”

“Её Марфа была совершенством, – вспоминал Марк Рейзен, исполнявший партию Досифея. – Трудно представить себе что-нибудь лучше обуховской Марфы. Это был шедевр, удивительный сплав вокального и актёрского вдохновения, человеческого и артистической мудрости. Она заставляла вспомнить женщин Сурикова и Нестерова. Казалось, она и в самом деле вышла из скита. Этому соответствовало и необычайное вокальное совершенство. Сочетание глубины настроения с идеальной вокальной стороной особенно захватывало. Она всегда пела, пела, а не кричала, и звуки лились без всякого напряжения. Великолепно исполняла она сцену гаданья, очень трудную для многих певцов. Но вершины она достигала в последней картине, в сцене самоотпевания, когда пела вдохновенно и сурово: “Слышишь ли, княже...” Если просто сказать, что Надежда Андреевна владела голосом, значит – сказать мало или сказать неточно. Голос её был как инструмент в руках виртуоза”.

Небезынтересно, что с 1925 года в ходу был секретный циркуляр Главлита, который предписывал, как именно надо ставить классические оперы. Трактровка “Хованщины”, по мнению главного цензора Лебедева-Полянского, должна быть следующей: “чтобы сочувствие зрителя было не на стороне старой, уходящей “хованщины”, а новой молодой жизни, представленной здесь Голицыным, преображенцами и молодым Петром”.

(Цензор в своём раже не удосужился сообразить, что Василий Голицын – один из ярых противников Петра).

Но какова бы ни была режиссёрская трактовка – именно Досифей и Марфа приковывали к себе всё внимание зрителя.

Надежде Обуховой Ключев подарил сборник “Костёр” с поэмой “Заозерье”, записав на форзаце стихотворение с посвящением “Моей чародейной современнице – славной русской артистке Надежде Андреевне Обуховой”.

*Баякало тебя райское древо
Птицей самоцветною — девой,
Ублажала ты песней царя Давида,
Он же гусями вторил взрыдам.*

.....
*А мы, холуи, зенки пялим,
Не видим, что Сирин в бархатной зале,
Что сердце райское под белым тюлем
Обожжено грозovým шюлем,
Лесными пожарами, голодом да мором,*

*Кручинится по синим небесным озёрам —
То Любашей в “Царской невесте”,
То Марфой в огненном благовестье.*

.....
*Пропой нам, сестрица, кого погребаем
В Костромском да Рязанском крае?*

Отвечает нам краса Любаша:

*“Это русская долюшка наша, —
Голова на коле,
Косыньки в пекле,
Перстенёк на Хвалынском дне”.*

Аминь.

...Стихи, написанные в эти месяцы, – чистая лирика, в которой жизнеутверждающий мотив (“И бородой зелёной вея, порезать ивовую шею не дам зубастому ножу!”) сменяется мотивом близкого насильственного конца.

*Я люблю малиновый падун,
Листопад горящий и горячий,
Оттого стихи мои как тучи
С отдалённым громом тёплых струн.
Так во сне рыдает Гамаюн,
Что забодан туром бард могучий.*

(Именно так читается последняя строка этого шестистишья – вопреки всем печатным публикациям, превращающим трагическое предсказание в бессмыслицу: “Что забытым туром бард могучий”).

*Мы моложе стали на пятнадцать
Ярых осеней, калёных зим
И румяным листопадом чтим
Деда снежного, глухой Нарым,
С вереницей внучек — серых пятниц!*

Это был последний сентябрь – любимый клюевский листопад, – встреченным поэтом на свободе.

*Прощайте, не помните лихом!
Дубы осыпаются тихо*

*Под низкую ржавой луной.
Лишь вереск да терн узловатый,
Репейник как леший косматый
Буянят под рог ветровой.*

*Подвиг ли, слава ли, честь ли?
Что там? Колёса да петли!
Терпкая пытка моя!..
Тянется веткой заря
В просинь сутулого зальца...
Выстрел иль хрустнули пальцы?*

А природа готовится к наступлению долгой зимы. И поэт, предчувствующий свой близкий конец, понимающий, что кольцо вокруг него стянулось, прощается с благословенным миром – его оплакивает природа-мать подобно тому, как был оплакан легендарный певец Древней Эллады.

“Вся природа оплакивала Орфея; плакали деревья и цветы, плакали звери и птицы, и даже немые скалы плакали, а реки стали многоводней от слёз, которые проливали они...” (Овидий. “Метаморфозы”).

*Ты опоздал седым бобром,
Серебряным крылом метели
Пахнут в оконце бедной кельи,
Где оторопь и свист печной
Кружились стаей надо мной,
И за стеной старик-сугроб
Сколачивал глубокий гроб!*

*Мои рыданья, пальцев хруст
Подслушал жимолости куст, —
Он, содрогаясь о поэте,
Облился кровью на рассвете.*

Под пером Поэта-чудотворца, воплощающего единственность человеческого, животного и растительного начала, оживает каждый пень, каждая ветка

дерева, каждый затон... Сама Мать-Сыра-Земля вслушивается в голос её певца, вечного странника на земле и в духе.

*Тебе речные терема,
Стихов жемчужная веревка.*

Первозданный мир северных лесов, хранящий тайны красок и созвучий, мир душевно и духовно родной поэту, мир, к которому он обращается, как к последнему пристанищу перед “желанной встречей и отплытьем...”

*...Где няня-ель в рукав соболий
Запрясет сок земной и боли.*

* * *

Эти стихи, как уже было сказано, не предназначались Клюевым для печати. Он по возможности оберегал их от посторонних глаз и, конечно, наученный горьким опытом с “Погорельщиной”, не собирался никуда предлагать “Песнь о Великой Матери”.

И поэтому самым тяжёлым ударом для него стал поступок Анатолия, который перепечатал поэму, отвёз её в Ленинград и показал редакторам, издателям, кое-кому из поэтов.

Письмо Клюева, единственное в своём роде, было исполнено гнева и горечи.

“Милый и дорогой друг!

Получил от тебя бандероль с моей поэмой, конечно, искажённой и обезображенной с первого слова: Песня о великой матери – разве ты не знаешь, что Песнь, а не песня, это совсем другой смысл и т. д. и т. д., но дело теперь уже не в этом, а гибели самой поэмы – того, чем я полон как художник последние годы – теперь все замыслы мои погибли: ты убил меня и поэму зверским образом.

Разве ты не понимаешь, кому она в первую очередь нужна и для чего и сколько было средств и способов вырвать её из моих рук. То, что не удалось моим чёрным и открытым врагам, сделано и совершено тобой – моим братом. Сколько было заклинаний и обетов с твоей стороны – ни одной строки не показывать... Но ты, видимо, оглох и ослеп и лишился разума от своих успехов на всех фронтах! Нет слов передать тебе ужас и тревогу, которыми я охвачен.

Я хорошо осведомлён, что никакого издания моих стихов не может быть, что под видом издания нужно заполучить работы моих последних лет, а ты беспокоишься о моей славе! На что она мне нужна! Опомнись! Ни одной строки из поэмы больше под машинку! Всё сжечь! Как поступил я – взять все перепечатки, у кого бы они ни находились, никаких упрасиваний не принимать во внимание. Никаких изданий не может быть. Поверь мне. Сколько экземпляров напечатано на машинке моей поэмы – на радость, обсасывание и кражу моим врагам? В чём смысл распространения тобою поэмы?

... Вольное или невольное твоё предательство? Если на это письмо не получу от тебя телеграммы или спешного письма, то выезжаю сам в Ленинград. Не умели жить вместе, ну тогда погибнем вместе. Теперь уже всё равно для меня. Я предан, ограблен и опозорен. Опомнись, брат – и друг мой, дай мне умереть по-человечески, а не по-собачьи. Приди в себя! Пойми, у кого мы в лапах?! Ведь такому чёрному делу, как твоё глупое усердие, история не подберёт имени... Твоя молодость не извинение – ты слишком оказался опытным, чтобы труп мой пожрали крысы... Ведь всё погибло навсегда с опубликованием хотя бы первой части поэмы... Ты говорил, что заключат договор и уплотят часть денег – помесечно, ну уплотят за один месяц 500 руб. и всё. Так поступили в Красной газете с “Погорельщиной” под видом издания – так поступят и теперь. Пойми это! Дело вовсе не в издании, что по нынешним временам немислимо. Ни Брауну, ни Прокофьеву и т. п. ни одной строки из следующих глав! Всё сожги, ибо теперь всё погибло – поэма навсегда с кровью вырвана из моего сердца...

Ещё раз плачущь тебе – сообщи немедля: что значит перепечатка первой главы поэмы? Где её перепечатали и кто? И получает ли она распространение?

Ужасаюсь, как всё это возможно! Или ты забыл её содержание? Или действительно это не сон, и я должен одеть себе верёвку на шею?..

Знаю, что пишу опасными словами, но чем тебя прошибить и какими средствами заставить прийти в себя?! Я заявляю, что запрещаю издание каких бы то ни было своих произведений! Посылаю заявление в издательство Писателей об этом... .

Поверь мне, что не издание, не деньги ты добыл для меня, а лишил меня последнего куска хлеба, следом за этим — пуля или верёвка; пока не верю, что это тебе необходимо. Приди в себя! Перекрестись! Опомнись! Пока не поздно — ни одной строки ни под каким предлогом никому... . Ведь мою кровь не отмыть тебе вовеки... .”

Потом, немного остыв, Клюев написал: “Со слезами прошу прощения за вспышку гнева в последнем письме. Этот гнев есть, конечно, один из видов противодействия, борьбы за свою любовь, заботы за подлинность и сохранение любви, как свободно принятого нами высокого избрания и сана. Чтобы срывать соединительные нервы дружбы, рвущиеся и от нашего греха, и от влияния извне, для этого необходима какая-то вечная памятка, с чем бы связывалось неколебимое наше решение — всё претерпеть до конца. И кроме того нужен таинственный ток энергии, непрестанно обновляющий первое, ослепительное время дружбы. Что же это за памятка? Внешне и грубо — это, конечно, есть напоминание о себе — истирание пятой дорожки дома друга твоего, внутренне же — это подвиг ради дружбы, некий невидимый труд — каждый день и час со скорбью погублять душу свою ради друга и в радости обретать её восстановленной!”

И одновременно с этим письмом пишутся стихи, обращённые к Анатолию, с уже знакомым нам мотивом — убийства царевича Димитрия.

*Погасла заря на палитре...
Из Углича отрок Димитрий,
Ты сам накололся на нож: —
Царица упала на грудьку —
Закликать домой забудку
В пролетье, где плещется рожь.*

*Во гробике сын Иоанна, —
Черёмухи ветка, чья рана
Как розан в лебяжьем пуху.
Прости, жаворонок, убивца,
Невесело савану шиться,
Игле бороздить по греху.*

*А грех-от, касатик, великий,
Не хватит в лесу земляники
Прогорклую сдобрить польнь: —
Зарезаны лебеди-гусли
И струны, что Волги загуслей,
Когда затихает сарынь.*

.....
*Поёт золотая тростинка,
И хлеб с виноградом в корзинке —
Художника чарый обед.
Вкушая вкусих мало меда,
Ты умер для песни и деда,
Которому имя — поэт.*

15 лет тому назад Клюев представил себя царевичем Димитрием, зарезанным Борисом Годуновым — Есениным. Теперь же царевич Димитрий — любимый Анатолий Яр. И не зарезавший (даром, что Клюев в письме пишет — “убил”) — зарезавший себя (“Ты сам накололся на нож...”). Совершивший непоправимый проступок — убил сам себя.

Не раз предупреждал Николай Анатолия: не повторить судьбу Есенина. “Есенин гораздо позже твоего, 27 лет, стал привыкать к рюмочке — сперва

только к портвейну, и через четыре с небольшим года его путь кончился в мебелиражке на собачьей верёвке”; “Теперь не замедлит познакомиться с тобой сам змий с обольстительным шёпотом, что ты будешь, как Бог, если всю будешь пожирать плоды с дерева познания добра и зла — такое пожирание Воробьёва называет “свободным развитием”. Иначе говоря, ты должен жить, как “настоящий мужчина” — курить, выпивать, стремиться к стандартному комфорту и дешёвой аванюре — и незаметно докатиться до какого-нибудь “Англетера”, где, тихо притаясь в углу — покачивается верёвка. Это видение стоит у меня в глазах! Мой долг и дело моей совести предупредить тебя об этом!”

Ещё более жёстко предостерегал Клюев Анатолия от общения с Павлом Васильевым: “Предсказываю тебе: если ты повредишь нравственное существо в самом себе, то и с тобой будет то же, что и с Васильевым. Мой долг сказать тебе это. Выпивоны с недоросшими до тебя в культуре сверстниками самое длительное года через два-три сделают из тебя дисгармоничное, обзлѐнное, как Клычков, Есенин, существо пропадом впереди. Поэтому молю тебя, свет мой, уклоняйся от выпивонов, как бы они по виду невинно ни были обставлены...”

Есенин, Клычков, Васильев... Каждый из них был удостоен высочайших похвал Клюева... Но насколько же важным для него было соответствие жизненного поведения художника его дару! И когда этого соответствия не было — не было для Клюева горшей муки.

Вот и предостерегал Анатолия.

Но выпивоны — выпивонами, а по сути одно и то же совершили и Анатолий, и Павел. Яр передал в чужие руки лелеемую и таимую первую часть “Песни”, что, очевидно, по мысли Клюева, не могло снова не привлечь к нему внимания “компетентных органов”... Васильев же...

Бумаги, которые он стащил со стола Николая и приволок к себе домой для “интересного чтения”, сыграли роковую роль.

Это были незаконченные и необработанные стихи, но по своему воздействию напминавшие хороший заряд динамита. Тут каждая строка хлестала наотмашь.

*Рябины — дочери нагорий
В крови до пояса... Я брёл,
Как лось, изранен и комол,
Но смерти показав копыта.
Вот чайками, как плат, расшито
Буланым пухом Заонежье
С горою вещью Медвежьей,*

*Данилово, где Неофиту
Андрей и Симеон, как сыту,
Сварили на премноги леты
Необоримые “Ответы”.
О книга — странничья киста,
Где синодальная лиса
В грызне с бобрехою поддонной, —
Тебя прочтут во время оно,
Как братья, Рим с Александрией,
Бомбей и суетный Париж!
Над пригвождѐнную Россией
Ты сельской ласточкой журчишь.*

Это пророчество — лишь увертюра и “синодальная лиса” — символ хитрости и коварства — “в грызне с бобрехою поддонной” — потаённой русской Россией — нуждается в расшифровке. Но далее всё идёт открытым текстом.

*Забросил я ресниц мережи
И выловил под ветер свежий
Костлявого, как смерть, сига...*

Из губ выловленной рыбы доносится предсмертный шёпот: “Яж украинец Опанас... Добей зозулю чоловіче!..” Живой образ Украины, пережившей только-только жесточайший голод, соединён с образом Опанаса – героя популярнейшей поэмы Эдуарда Багрицкого, Опанаса, восставшего против продотрядовца Когана, грабившего крестьян, ушедшего к батьке Махно... Расстрелявший мучителя Опанас закончил свои дни возле стенки... Памятны всем были лихие строчки:

*— Ну, штабной, мотай башкою,
Придвигай чернила!
Этой самою рукою
Когана убило!
Погибай же, Гуляй-поле,
Молодое жито...*

*Опанасе, наша доля
Туманом повита...*

Но это – литература, своего рода “анти-Дума”... А дальше – сама жизнь. Одно из величайших деяний новой власти – строительство Беломоро-Балтийского канала, на которое отправилась огромная делегация писателей, что выпустит через год знаменитую книгу “Беломорско-Балтийский канал имени Сталина”... Гимн чекизму и подневольному труду уголовников и раскулаченных, спетый Виктором Шкловским, Анной Берзинь, Дмитрием Мирским, Михаилом Зощенко, Евгением Габриловичем, Верой Инбер, Валентином Катаевым, Всеволодом Ивановым, Львом Никулиным, Михаилом Козаковым и другими под управлением Максима Горького, Леопольда Авербаха и Семёна Фирина.

Не удержался даже Пётр Орешин.

*Я знаю трудовые ночи,
Огонь печей, железа стук...
Мне утром встретился рабочий,
Мой старый закадычный друг.*

*Он рассказал мне о заводе,
О том, что нынче он узнал,
Как будто их на пароходе
Везут на Беломорканал.*

*В пути бесплатное питание
И лекции в вечерний час...
Он улыбался... В расставанье
Ему я долго руку тряс.*

*И я почувствовал волнение
И в жилах кровеносный ток.
Вот почему стихотворенье
С пера слетело, как дымок!*

Писатели же, у которых “как дымок” с пера слетали глава за главой, восторгались кардинальной переделкой природы и картинами затопления прежней жизни.

“Едем дальше. Покачивает, дует низовка. На часах – полночь. На озере – день. Только нет солнечного сверкания.

– Обратите внимание – исторический остров Городовой. В смутное время на нём разбитые литовцы жили. Потом – раскольничий скит. Больше его никто не увидит.

И мы смотрим на уходящую под воду историю. Вдали – огоньки селений.

– Все – будущие утопленники. Самые древние селения на озере.

Проходим мимо Карельского острова. Огромный остров с поймами и лугами – целый материк – он пуст. Из сорока домов осталось два.

...Рядом с деревянной часовней — непотревоженная изба. Она словно отгорожена невидимой стеной от всего, что происходит в двух шагах.

— Старуха тут древняя со стариком живут. Ни за что не хотят с места тронуться. Старуха — местная ворожея. Спадёт, говорит, вода. Брат старика в другой половине живёт, — хоть завтра перевозиться, а эти не хотят ни в какую...

У входа в Телекинку опускается в воду остров Сеговец. На нём ветхие, брошенные, никому не нужные дома. Дома уйдут в озеро вместе с островом. Будут стоять на дне его. Рыбы заплывут в раскрытые двери и окна...

Проходим мимо обречённых, с которыми мы уже попрощались — Койкинцы, Карельский остров, Габ — Наволок, Хим — Пески. Они доживают последние дни под солнцем. Широко разольётся озеро. Оно затопит почти сто километров полотна Мурманской железной дороги, которая была когда-то построена пленными австрийцами и русскими каторжниками...

У Клюева был свой взгляд на современных каторжников, кардинально отличный от писательско-туристического.

*Данилово — котёл жемчужин,
Дамасских перлов, слёзных смазней,
От поругания и казни
Укрылося под зыбкой схимой, —
То Китеж новый и незримый,
То беломорский смерть-канал,
Его Акимушка копал,
С Ветлуги Пров да тётка Фёкла.
Великороссия промокла
Под красным ливнем до костей
И слёзы скрыла от людей,
От глаз чужих в глухие топи.
В немереном горячем скопе
От тачки, заступа и горстки
Они расплавом беломорским
В шлюзах и дамбах высят воды.
Их рассекают пароходы*

*От Повенца до Рыбьей Соли —
То памятник великой боли...*

Если бы здесь остановился Клюев... Но он не останавливается, он договаривает до конца. Те, кто надрывается с тачками и лопатами в руках, — получили по высшему счёту своё, заслуженное участием в разрушении прежней жизни.

*Метла небесная за грех
Тому, кто, выпив сладкий мех
С напитком дедовским стоялым,
Не восхотел в бору опалом,
В напевной кондовой избе
Баюкать солнце по судьбе,
По доле и по крестной страже...*

Это — первое стихотворение цикла “Разруха”. Второе — ещё чище. Плач градов и рек русской земли в предчувствии всепоглощающей вселенской катастрофы сменяется страшным сатанинским рёвом.

*Скрипит иудина осина
И плещет вороном зобатым,
Доволен лакомством богатым,
О ржавый череп чистя нос,
Он трубит в темь: колхоз, колхоз!
И, подвязав воловий хвост,*

*На верезг мерзостной свирели
Повылез чёрт из адской щели —
Он весь мозоль, парха и гной,
В багровом саване змейёй
По смрадным бёдрам опоясан...
Не для некрасовского Власа
Роятся в притче эфиопы —
Под чёрной заростью есть тропы,
Бетонным связаны узлом —
Там сатаны заезжий дом...*

Но и колхозом вкупе с сатаной всё не кончается. Появляются “самоубийц тела”, плывущие до “адского жерла”, и среди них — “великий пролетарский поэт”, кому когда-то “грезился гудок над Зимним”, и к кому Клюев обращался почти по-родственному: “Брат мой несчастный, будь гостеприимным”... Теперь же — никаких родственных чувств, ибо самоубийца этот — из главных разрушителей живой жизни, гармоничного русского лада.

*И ты
Закован в мёртвые плоты,
Злодей, чья флейта — позвоночник,
Бульжник уличный — построчник
Стихи мостить “в мотюх и в доску”,
Чтобы купальскую берёзку
Не кликал Ладо в хоровод,
И песню позабыл народ,
Как молодость, как цвет калины...*

Пригвождённая Россия... “Дума про Опанаса” революционного поэта Багрицкого... Беломорканал... Колхоз вкупе с дьяволом... Злодей-Маяковский... И в этом же цикле отдельным стихотворением — трагическая “Песня Гамаюна” из “Песни о Великой Матери”.

Каждый отдельный пункт по условиям той жизни в Советской России “железно” тянул на статью 58 пункт 10 (“антисоветская агитация и пропаганда”). А все вместе взятые...

Всё это, любезно предоставленное Пашей Васильевым (без малейшего желания “донести”, просто — из интереса), внимательно читал Иван Михайлович Гронский. Да, тут не было никакого сравнения с “мерзостью” цикла “О чём шумят седые кедры”.

Вот о чём Гронский донёс Ягоде. Вот из-за чего он требовал выселить Клюева из Москвы. А разговор о “мерзости” — это так, попутное...

В течение 1933 года Гронский четырежды был на приёме в личном кабинете Сталина. Разговор шёл о предстоящем писательском съезде. И наверняка в одну из этих встреч Иван Михайлович рассказал вождю — “что же такое Клюев”.

Ягода был на приёме у Сталина 17 января 1934 года. Разговор длился почти 2 часа. Время было самое напряжённое — XVII съезд ВКП(б), знаменитый “съезд победителей”.

Побеждённым, да ещё и с соответствующей репутацией, не было места в столице СССР.

Рискну предположить, что на этой встрече и была решена судьба Николая Алексеевича Клюева. К уже исследованной “Погорельщине” вкупе с соответствующими материалами добавился новый “компромат”. Все условия для оформления “дела” были соблюдены.

2 февраля 1934 года сотруднику оперативного отдела ОГПУ Александру Христофоровичу Шиварову был выдан ордер № 14505 на проведение обыска и ареста Николая Алексеевича Клюева, проживающего по адресу: Гранатный переулок, дом 12, квартира 3.

Ордер был подписан заместителем председателя ОГПУ Яковом Сауловичем Аграновым.

(Окончание следует)